

«Поиск не менее важен, чем открытие».

«Интрижка с троллем».

Новое предисловие к сборнику рассказов Эллисона

«Любовь — всего лишь секс с бóльшим
количеством букв», изд-во «Пирамида», 1976.

Вполне очевидно, что во многих своих работах Харлан раскрывает себя. Иногда это замаскировано — хотя и тонко — под выдумку, иногда под воспоминания. В нашей коллекции вы найдете множество примеров тому. В других случаях Харлан отбрасывает маски и, насколько это возможно, показывает нам свою истинную сущность. Делая это, он дает читателю возможность всмотреться в самого себя, понять себя, обрести смелость в следовании его примеру. Потому что Харлан имел мужество говорить громко и открыто.

В своих книгах Харлан сочетает ребенка и взрослого человека. Он неутомимый комментатор доли человеческой, твердый и действенный голос — хотя сам он и возражает против столь выпренних определений. Но если он и настаивал на том, что он обычный закоренелый бузотёр, обычный брюзга, обычный вольнодумец, человек, движимый более гневом, чем заранее избранной моральной целью, — в его литературе все же трудно не увидеть современный аналог Бэкона и Босуэлла, Обри и Дефо, человека читающего и трактующего собственную эпоху так, как он ее видит. Но это голос *нашего* времени, голос человека, живущего в нем, а не просто становящегося в позу, потому что ему нравится эта роль.

Записки и хроники Харлана — это не академические тексты, написанные для того, чтобы побудить вас принять преподанные в них факты. Они вспыльчивы, человечны, непочтительны, решительны, вдумчивы и печальны. Они выстроены так, чтобы добиться главной цели: поведать читателю о мире то, что Харлан считал необходимым. Ясно и отчетливо. Потому-то они столь многих приводили в ярость.

Конечно, легко сказать, что эти эссе — просто ряд его мнений по тому или иному поводу, не более и не менее. Но факт остается фактом: мнения Харлана обретают силу и мощь проповеди, становясь морализаторской интерпретацией этих фактов. Как мы уже видели в его эссе «Валери», он, ничем не ограничивая себя, методично использует в качестве материала собственную жизнь, чтобы поведать нам, как оно было и, возможно, как оно будет всегда, пользуясь пережитым и прожитым, чтобы с тем большей силой донести свою главную мысль, погрузиться в универсальное, реагируя на что-то в собственном микрокосме, проблему здесь, мысль там. Он заставляет нашу кровь закипать, когда его мнения идут вразрез с нашим, или когда его манера подачи заставляет нас идти туда, куда нам идти не хотелось бы. Когда Харлан диктует нам условия, называет вещи своими именами и побуждает нас видеть мир таким, каким он видит его, от его слов невозможно отмахнуться.

Первое эссе, «Из Алабамы с ненавистью» (1965) появилось в одном из неприличных журналов для мужчин, которых в 1960-е расплодилось великое множество. Тогда оно было озаглавлено «Марш на Монтгомери». После убийства одного из Кеннеди Америка пришла в такое замешательство и погрузилась в такой хаос, который вскоре поглотил Мартина Лютера Кинга и второго из братьев Кеннеди. Харлановское осуждение ненависти и предрассудков — это острая журналистика в сочетании со здравым смыслом, но «девятый вал истории», о котором он говорит, накатывался неумолимо.

Он не пытался предсказать, какой станет душа Америки через тридцать лет, но не думаю, что она стала настолько здоровой, насколько надеялся он.

В 1972–1973-м «Букварь» Харлана Эллисона регулярно печатался в газете «Свободная пресса Лос-Анджелеса», выдающемся образце тогдашней прессы «андеграунда». Газета вспыхивала и гасла в такт с меняющимися временами. Это было своеобразным продолжением предыдущей колонки Харлана, посвященной анализу телевидения. Она выходила под названием «Стеклянная сиська».

Материал обеих колонок сохранился в двух солидных томах. «Букварь» был чем-то вроде открытого дневника, заполненного событиями харлановской повседневной жизни — и его реакции на эти события. Две подборки в настоящей коллекции, «Мой отец» (1972) и «Моя мать» (1976) — последняя появлялась в журнале «Saint Louis Literary Supplement», где колонки время от времени печатались. Обе они представляют собой рискованные и откровенные эссе, но в то же время они были и мягче, и добрее, чем можно было ожидать в условиях тогдашних социальных кризисов.

Кажется, из самой глубины души вопиет очерк «Усталый старик» (1975), который явился результатом встречи Харлана с Корнеллом Вулричем на вечеринке нью-йоркских писателей. Однако никто кроме Харлана не помнит, чтобы Вулрич там был. Это откровенный и эмоциональный портрет одного из любимых писателей Харлана, а финал его позволяет нам разделить его чувство преклонения перед своим героем.

«Поддай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале» (1982) — воспоминания Харлана о трех месяцах работы на третьесортной развездной ярмарке и о трех днях, которые он провел в тюрьме в штате Миссури, откуда следовал еще один урок, известный нам, но так нами и не усвоенный.

А в «Странном вине» (1976) автор без обиняков рассказывает о том, что этот мир — лучший из всех возможных миров.

Во всех этих эссе вы не найдете ни пустот, ни тщательного отбора слов, которые должны были бы усыпить наше внимание своей монотонностью. Нет, здесь наличествует страсть: кипящая и яростная, отчаявшаяся, но ищущая, всегда пребывающая в поиске истины. И если поиск приводит к ярости — что ж, быть по сему.



«Я тьявкающая собачка с маленькими острыми зубами. Часто я так же неправ, как и вы, часто глуп, как и вы, часто самодоволен, как и вы. Но я в рабочем состоянии. Как и вы».

«Зловещие заметки для вечернего отдыха»,
предисловие к сборнику «Мой голос дрожит от гнева»,
изд-во «Доннинг», 1985.

Из Алабамы с ненавистью. Еще одна заметка из чистилища

25 марта 1965 года, четверг. Марш по стране слепых. Город Монтгомери, штат Алабама, в жару смердящий разложением, задыхающийся от злобы двух столетий расизма, убийств и морального убожества, оснащенный скрытыми от посторонних глаз реликвиями аристократов Юга: веревки для линчевания, ружья 12-го калибра, паскудные туалеты типа «сегрегированные, но равные», электрошокеры, отряды убийц ночью и расчетные чеки днем.

Да, оснащенный всем этим — и ждущий прибытия чужаков.

25 марта. Пятьдесят тысяч человек, идущих по красным глинистым дорогам Алабамы и поющих на марше. Чужаки, пришедшие объяснить сумасшедшим расистам, что Гражданская война давно закончилась, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит, что обитатели зла, в которую превратилась Алабама, никто в Соединенных Штатах уже не потерпит.

Марш свободы в Монтгомери, штат Алабама.

Тенденциозные сообщения в печати.

И если ты не шел с нами в марше, то можешь пойти на ***. Возможно, тобой

двигали какие-то благородные мотивы. Не знаю, я их не обнаружил. Просто наступило время расчета, время отказа от салонного либерализма, время прекратить кудахтанье об ужасающих преступлениях и не менее ужасных условиях жизни. Время действовать. Время платить по счетам. Время *mea culpa*, когда виноват каждый. Потому и я пошел в марше.

Вместе с тысячами других — со всей страны, со всего мира. Был представлен каждый штат: Нью-Мексико, Индиана, Нью-Йорк, Флорида, Огайо. Порядочные мужчины и женщины из Парижа и Лондона. С Гавайев и Аляски. Слепой мужчина, пришедший пешком из штата Джорджия. Богатая дама в мехах из Беверли-Хиллз. Одноногий герой, участвовавший еще в первом марше Трехсот, проделавший путь от Сельмы, где люди гибли еще несколько дней назад, до Монтгомери, где какой-то подлый расист вывесил флаг Конфедерации, как жест сопротивления, и спрятался за дверями, закрытыми на все замки.

И даже после марша, даже после всех бесконечных речей, женщину из Детройта буквально расстреляли на той же самой дороге между Сельмой и Монтгомери. Виола Лиуццо стала еще одним занумерованным трупом.

Черт подери их всех! Черт подери их вывихнутые, изуродованные мозги, их гнилые убеждения, всех этих двойников гитлеровских головорезов. Даже после того, как они видели пятьдесят тысяч человек, собравшихся в выгребной яме, называемой штатом Алабама, чтобы словом, телом и делом заявить: «Освободи этих людей!» — даже и после этого, при всех произнесенных словах, негодяи убивали снова.

И снова. Похоже на то, что это никогда не прекратится, пока не наступит время и человечество не исчезнет, погрузившись в океан забвения, когда не станет ни черных, ни белых — ни Человека вообще! Все эти разговоры о Человеке, а на марше разговоры о Боге... Но где был Бог для маленьких девочек в Бирмингеме? Где был Бог для преподобного Риба? Для миссис Лиуццо? Для всех безымянных чернокожих, которых сжигали и вешали, калечили бритвой и ножом, расстреливали из ружей? Я не могу говорить о Боге. Я могу говорить только о Человеке.

Самолеты вылетали из Бербанка. Три самолета — из аэропорта Локхид, где Богарт прощался с Ингрид Бергман в «Касабланке». Триста священнослужителей, студентов, актеров, домохозяек, клерков, писателей, водителей грузовиков, поэтов. Сначала все думали, что хватит одного самолета, но за два дня до нашего вылета пришлось подрядить еще один, а ранним утром в чет-

верг — и третий. И все равно людям продолжали отказывать. Зал ожидания превратился в сумасшедший дом, люди толпились у стойки регистрации, крича: «Дайте мне улететь!» Почему они так яростно за это сражались? Почему было не воспользоваться удобным предложением и не лезть в пасть зверю?

Потому что все, что я видел во время марша на Монтгомери, это Человек во всем своем благородстве — и во всей своей мерзости. Если вам нужны детали, если вам нужны строгие цифры, если вам нужна история, все это было зафиксировано и записано. А я пишу, черт бы их всех побрал, о своих личных впечатлениях. Мужчины и женщины, которые, конечно же, предпочли бы залечь дома в теплую кроватку или отправиться на дискотеку. Они сражались и толкали друг друга, чтобы выложить свои деньги за билет. Я был в самой гуще толпы. И у меня нет ответа на вопрос «почему».

Но в самолете, забитом абсолютно незнакомыми мне людьми, — несмотря на то, что нас объединяло общее дело, — меня внезапно одолели странные и пугающие мысли. Все люди на этом рейсе, летящие по направлению к всеобщему братству — что, если мы потерпим катастрофу и окажемся вдали от цивилизации, и у нас не будет никакой еды кроме той, что мы везли с собой в рюкзаках? Разве мы не набросились бы на этого хорошо одетого чернокожего джентльмена с сумкой фруктов в руках? И куда бы подевалось тогда наше братство? И до меня дошло: вся истерия у стойки регистрации, вся толкотня, все эти стадные эмоции...

Это было взаправду! Это были реальные люди.

А то, куда мы летели, то трудноопределимое, то во что мы верили и что собирались делать... Это была всего лишь идея. Просто мысль.

И она, пугающим и неизбежным образом, не была реальностью. И я знал: эти люди не обязаны нравиться друг другу, не обязаны любить друг друга, они друг другу абсолютно чужие существа, летящие к мечте.

Но мечту невозможно заселить людьми. Только суровая реальность позволяет ощутить присутствие других. Я почувствовал себя очень одиноким.

Потому что там, внизу, был Монтгомери, штат Алабама. Это была реальность.

А здесь, в самолете, была мечта. И мысль о том, что мечта эта не была частью реальности, пугала меня. Люди, живущие в этом штате, существуют в нем постоянно, а не просто прилетают на денек или недельку, а потом возвращаются назад к холмам Голливу-

да, к безопасной жизни. Я похолодел при мысли о том, что мы вот-вот вторгнемся в их реальность.

Внизу мы должны были встретиться с участниками Первого марша, прошедшими пятьдесят миль по шоссе 80 от Сельмы до Монтгомери.

Все демонстранты, прилетавшие отовсюду, должны были встретиться в трех милях от Монтгомери, в городке Сент-Джуд, в больнице и в школе. Мое первое впечатление наполнило меня страхом. Так, должно быть, чувствовали себя заключенные со всей Европы, впервые увидевшие Бухенвальд или Дахау. Снаружи, по внешней стороне колючей проволоки, с интервалом в пятнадцать метров стояли бойцы Национальной гвардии Алабамы.

Внутри ограждения бивуак выглядел как-то... неуместно.

Площадка была забита группами людей, по две, а то и по три сотни. Неорганизованные, растерянные. Грязь была повсюду. Жирная, чавкающая грязь Алабамы, которую месили тысячи ног еще с прошлого дня. Это был концлагерь. И солдаты за колючкой смотрели не вовне, как было бы, если бы они защищали людей внутри...

Когда мы оказались внутри, я попытался поговорить с нацгвардейцами. Точнее, задать им два вопроса. Я пересек пустое пространство, отойдя подальше от всех толпившихся внутри колючки людей и подошел к трем бойцам, стоявшим вместе. Двое сразу же отошли.

— С каким интервалом вас расставили вокруг колючки? — спросил я.

— Я не знаю.

— Вы из Национальной гвардии Алабамы?

— Я не знаю.

Он повернулся и пошел прочь. Я смотрел ему вслед. Избави нас Боже от людей, которые делают то, что очень не хотели бы делать. И делают это лишь потому, что им был отдан приказ.

Позднее я еще более отчетливо осознал мой страх перед этими южанами, согнанными сюда, чтобы служить ненависти, потому что единственный момент реальной опасности исходил от них.

Мы должны были начать марш, пройдя три мили вглубь Монтгомери к зданию Капитолия, в 9 утра. Но мы никуда не двинулись до одиннадцати. Выстраиваясь в колонны, шеренгами по трое, мы стояли и ждали в грязи, а потом начался дождь. Он холодной моросью брызгал прямо на нас. Люди доставали из рюкзаков зонты и плащи.

Внезапно заблеяли матюгальники на грузовичке. Какой-то негритянский комик неумело подражал разным деятелям... И ни-

как не мог остановиться. Он изображал Уоллеса, Рузвельта, Ральфа Банча, Линдона Джонсона, Пауля Тиллиха... Каждые несколько минут он раздражался злыми вставками на предмет того, что все «беляши» — сукины дети. Это было в очень дурном вкусе и очень не ко времени. В конце концов, все мы, собравшиеся здесь, прибыли, чтобы сделать то, что в наших силах, послужить справедливости, без обычной для белых поспешности заправлять всем. Мы стояли, а этот комик хрипел, обращаясь к нам, пока не раздались голоса, предлагающие брать штурмом не Капитолий, а этот проклятый грузовик с матюгальниками.

Потом участники Первого марша трехсот в своих флуоресцентных жилетах дорожных рабочих, с флагами США в руках начали шагать вперед, и мы, в приподнятом настроении от того, что началось хоть какое-то движение, последовали за ними. Волна за волной, шеренга за шеренгой, дети, взявшись за руки, женщины с пакетами с едой, чернокожие и белые, со сверкающими глазами, мы выходили на шоссе Джефферсона Дэвиса.

Время от времени из рядов взмывала вверх песня. Мы шли уже четыре часа. Впереди меня одноногий Джим Летерет из Сагино, штат Мичиган, скакал на своих костылях, расплывшись в улыбке.

Группа подростков из Монтгомери шагала рядом с нами, прибывшими из Лос-Анджелеса, и я впервые расслышал слова их песни:

— В сердце своем ты знаешь, что ты не прав... В сердце своем ты знаешь, что ты не прав... В сердце своем ты знаешь, что ты не прав... Здесь в Монтгомери, штат Ала-ба-ма!

Это была странная и требовательная кричалка, под которую мог бы танцевать Придурок:

— Хуп-де-хуп... Хуп-де-хуп... Хуп-де-хуп...

И потом злое, угрожающее и требовательное:

— Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

Это была старая кричалка, которую обращали к штрейкбрехерам. Грозное предупреждение.

— Мы идем. Мы ждем вас. Попробуйте сделать что-нибудь. Сломайте палки о наши спины. И потом посмотрим, кому раскроют башку, Хуп-де-хуп... Хуп-де-хуп... Хуп-де-хуп... Ага. Ага. Ага. Ага. Ага.

Марш прошел по 80-му федеральному шоссе и стал углубляться в негритянские кварталы.

Представьте себе все мыслимые клише бедности и отчаяния. Погрузите их в котел вашего воображения. Но и тогда они не достигнут планки того убожества, в котором живут темнокожие

мужчины и женщины в Монтгомери, штат Алабама. Дома, никогда не видевшие краски, хижины из картонных панелей, не имеющие фундамента. Дома, где при подметании не нужно брать в руки совок для мусора, потому что мусор проваливается сквозь щели в полу.

Дома, где стены обклеены не обоями, а старыми газетами, картонные коробки, в которых гуляет холодный ветер. Полных людей очень немного. И абсолютное отсутствие расистского клише: «Они живут в грязи, но ездят на огромных кадиллаках». Кадиллаков здесь нет. Но есть высохшие старики, сидящие на крыльце в чистой, но заношенной до дыр одежде. Есть маленькие дети, бегающие друг за другом в чулках, натянутых на головы. Есть грязные открытые стоки для нечистот возле каждого дома — потому что муниципалитет не считает нужным снабдить местный люд адекватной канализацией. Есть тотально неадекватные магазины — маленькие клетушки с обязательной рекламой кока-колы, ниже которой располагается название самого магазинчика. Единственное, что выглядит ярким и свежим — реклама кока-колы. Боже, благослови американскую экономику, всепроникающую любовь корпораций! Картинка на обочине: дюжина маленьких детей, тоненькими голосами поющими вместе с тысячелетним негром «We Shall Overcome». На их лицах ни единой улыбки.

Улыбки были на лицах тех, кто шагал в колонне на марше. Негры, сидевшие у домиков вдоль дороги, были слишком напуганы: что, если их хибарки сожгут, или их самих линчуют, или выгонят с работы, если они примут участие в марше (что и подтвердили события последующих нескольких дней) — и потому они молча наблюдали за нами. Сидя на крыльце и стоя на тротуарах, — эвфемизм для дорожек, присыпанных щебенкой — они смотрели на текущую вдоль дороги человеческую реку — на тех, кто приехал в Алабаму, чтобы поклясться в верности их делу. И, когда поющие люди шагали мимо их хижин, их обитатели спонтанно начинали аплодировать в такт песне и подпевать, но неизменный страх тут же возникал за их спинами, и они умолкали. Это было жутковато и трагично.

Старая беззубая женщина, преодолев себя, бежала вдоль колонны, радостно выкрикивая слова песни. Она вцепилась в меня, пыталась меня обнять просто потому, что пришла в восторг от того, что мы существуем, что мы приехали туда, куда приехали.

— Давай, мама! У нас найдется для тебя место, — кричал Пол Роббинс, фотограф, прилетевший со мной.